



Борис Пильняк

Повесть непогашенной
луны

ФТМ



Борис Пильняк

Повесть непогашенной луны

«ФТМ»

1926

Пильняк Б. А.

Повесть непогашенной луны / Б. А. Пильняк — «ФТМ», 1926

ISBN 978-5-4467-1214-4

«Повесть непогашенной луны» – сочинение дерзкое для своего времени. Писатель решился изложить распространенную, хотя и не афишируемую версию гибели видного военачальника Красной армии М.Фрунзе, согласно которой тот был отправлен Сталиным на смерть под видом проведения операции по удалению язвы желудка. Прототипы главных героев не названы по именам, однако современники легко разглядели знакомые черты. В повести железный закон революционной дисциплины оказывается сильнее здравого смысла: понимая, что его хотят убить, персонаж отправляется на не нужную с медицинской точки зрения операцию только ради того, чтобы выполнить приказ. Бывший нарком по военным делам, без тени сомнения обрекавший на гибель тысячи людей, смиренно склоняется перед волей руководителя, бессмысленно жертвуя собственной жизнью...

ISBN 978-5-4467-1214-4

© Пильняк Б. А., 1926

© ФТМ, 1926

Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ	5
ГЛАВА ПЕРВАЯ	6
ГЛАВА ВТОРАЯ	10
ГЛАВА ТРЕТЬЯ	19
ГЛАВА ПОСЛЕДНЯЯ	27

Борис Пильняк

Повесть непогашенной луны

ПРЕДИСЛОВИЕ

Фабула этого рассказа наталкивает на мысль, что поводом к написанию его и материалом послужила смерть М. Ф. Фрунзе. Лично я Фрунзе почти не знал, едва был знаком с ним, видел его раза два. Действительных подробностей его смерти я не знаю, – и они для меня не очень существенны, ибо целью моего рассказа никак не являлся репортаж о смерти наркомвоенна. – Все это я нахожу необходимым сообщить читателю, чтобы читатель не искал в нем подлинных фактов и живых лиц.

Бор. Пильняк

Москва 28 янв. 1926 г.

Воронскому¹, дружески

¹ А... К. Воронский – член ВЦИКа, известный критик-марксист. (Прим. ред.)

ГЛАВА ПЕРВАЯ

На рассвете над городом гудели заводские гудки. В переулках тащилась серая муть туманов, ночи, измороси; растворялась в рассвете, – указывала, что рассвет будет невеселый, серый, изморосный. Гудки гудели долго, медленно, – один, два, три, много – сливались в серый над городом вой: это, в этот притихший перед рассветом час, гудели заводы, – но с окраин долетали визгливые, бередящие свисты паровозов, идущих и уходящих поездов, – и было совершенно понятно, что этими гудами воеет город, городская душа, залапанная ныне туманной мутью. В этот час в типографиях редакций ротационки выбрасывали последние оттиски газет, и вскоре – со дворов экспедиций – по улицам рассыпались мальчишки с газетными кипами; один-другой из них на пустых перекрестках выкрикивал, прочищая глотку, так, как будет кричать весь день:

– Революция в Китае! К приезду командарма Гаврилова! Болезнь командарма!

В этот час к вокзалу, куда приходят поезда с юга, пришел поезд. Это был экстренный поезд, в конце его сизо поблескивал синий салон-вагон, безмолвный, с часовыми на подножках, с опущенными портьерами за зеркальными стеклами окон. Поезд пришел из черной ночи, от полей, промотавших, роскошествуя, лето на зиму, ограбленных летом для того, чтобы стариться снегом. Поезд вполз под крышу вокзала медленно, не шумно, стал на запасный путь. На перроне было пустынно. У дверей, должно быть, случайно, стояли усиленные наряды милиции с зелеными нашивками. Трое военных, с ромбами на рукавах, пришли к салон-вагону. Люди там обменялись честями, – эти трое постояли у подножки, часовой шептал что-то внутри вагона, – тогда эти трое поднялись по ступенькам и скрылись за портьерами. В вагоне вспыхнул электрический свет. Два военных монтера закопошились у вагона и под крышей вокзала проводили телефонные провода в вагон. Еще подошел человек к вагону, в демисезонном стареньком пальто и – не по сезону – в меховой шапке-ушанке. Этот человек никакой чести не отдавал, и ему не отдали чести, он сказал:

– Скажите Николаю Ивановичу, что пришел Попов.

Красноармеец посмотрел медленно, осмотрел Попова, проверил его несвежие башмаки и медленно ответил:

– Товарищ командарм еще не вставали.

Попов дружески улыбнулся красноармейцу, почему-то перешел на ты, сказал дружески:

– Ну, ты, братишка, ступай, ступай, скажи ему, что пришел, дескать, Попов.

Красноармеец пошел, вернулся. Тогда Попов полез в вагон. В салоне, потому что опущены были занавеси и горело электричество, застряла ночь. В салоне, потому что поезд пришел с юга, застрял этот юг: пахло гранатами, апельсинами, грушами, хорошим вином, хорошим табаком, – пахло хорошим благословением полуденных стран. На столе около настольной лампы лежала раскрытая книга и около нее тарелка с недоеденной манной кашей, – за кашей – расстегнутый кобур кольта, с ременным шнурком, легшим змейкой. На другом конце стояли раскупоренные бутылки. Трое военных, с ромбами на рукавах, сидели в стороне от стола в кожаных креслах вдоль стены, сидели очень скромно, навтыяжку, безмолвствовали, с портфелями в руках. Попов пролез за стол, снял пальто и шапку, положил их рядом с собой, взял раскрытую книгу, посмотрел. Приходил ко всему на свете равнодушный проводник, убрал со стола; бутылки поставил куда-то в угол; смел на подносик корки гранатов, – постелил на стол скатерть, поставил на нее одинокий стакан в подстаканнике, тарелку с черствым хлебом, рюмку для яиц; принес на тарелочке два яйца, соль, пузыречки с лекарствами; отогнул угол портьеры, посмотрел на утро, – раздвинул портьеры на стеклах окон, шнурки портьер прожикали сиротливо, – потушил электричество: и в салон залезло серое, в измороси осеннее утро. Все стало очень обыденно, можно было разглядеть в углу ящик с вином и трубкою свернутый ковер. Проводник монументом стал в дверях, неподвижный, с салфеткой в руках. Лица у всех в этом

мутном утре были желты, – жиденкий водянистый свет походил на сукровицу. В дверях рядом с проводником стал ординарец, походная канцелярия уже работала, прозвонил телефон.

Тогда из купе-спальни в салон прошел командарм. Это был невысокий, широкоплечий человек, белокурый, с длинными волосами, зачесанными назад. Гимнастерка его, на рукаве которой было четыре ромба, сидела нескладно, помятая, сшитая из солдатского зеленого сукна. Сапоги со шпорами, хоть и были вычищены тщательнейше, стоптанными своими каблуками указывали на многие свои труды. Это был человек, имя которого сказывало о героике всей гражданской войны, о тысячах, десятках и сотнях тысяч людей, стоявших за его плечами, – о сотнях, десятках и сотнях тысяч смертей, страданий, калечеств, холода, голода, гололедец и зноя походов, о громе пушек, свисте пуль и ночных ветров, – о кострах в ночи, о походах, о победах и бегствах, вновь о смерти. Это был человек, который командовал армиями, тысячами людей, – который командовал победами, смертью: порохом, дымом, ломаными костями, рваным мясом, теми победами, которые сотнями красных знамен и многотысячными толпами шумели в тылах, радио о которых облетало весь мир, – теми победами, после которых – на российских песчаных полях – рылись глубокие ямы для трупов, ямы, в которые сваливались кое-как тысячи человеческих тел. Это был человек, имя которого обросло легендами войны, полководческих доблестей, безмерной храбрости, отважества, стойкости. Это был человек, который имел право и волю посылать людей убивать себе подобных и умирать. Сейчас в салон прошел невысокий, широкоплечий человек с добродушным, чуть-чуть усталым лицом семинара². Он шел быстро, и его походка одновременно сказывала в нем и кавалериста, и очень штатского, никак не военного человека. Трое штабистов стали перед ним во фронт: для них это был человек – рулевой той громадной машины, которая зовется армией, – человек, который командовал их жизнью, главным образом их жизнью, преуспеваниями, карьерой, неудачами, жизнью, но не смертью. Командарм приостановился перед ними, руки не подал, сделал тот жест, который позволял им стоять вольно. И так, стоя перед ними, командарм принял от них рапорты: каждый из этих троих выступал вперед, становился во фронт и рапортовал – «во вверенном мне», – «служба революции». Каждому отрапортовавшему командарм жал руки по порядку (должно быть, не слушая рапортов). Тогда он сел перед одиноким стаканом, и проводник возник рядом, чтобы налить из блестящего чайника чаю. Командарм взял яйцо.

– Как дела? – спросил попросту, без рапортов, командарм.

Один из троих заговорил, сообщил новости и тогда спросил в свою очередь:

– Как ваше здоровье, товарищ Гаврилов?

Лицо командарма сделалось на минуту чужим, он сказал недовольно:

– Вот был на Кавказе, лечился. Теперь поправился, – помолчал, – теперь здоров. – Помолчал. – Распорядитесь там, никаких торжеств, никаких почетных караулов, вообще... – Помолчал. – Вы свободны, товарищи.

Трое штабистов поднялись, чтобы уйти. Командарм, не поднимаясь, каждому из них подал руку, – те вышли из салона бесшумно. Когда в салон входил командарм, Попов не поклонился ему, взял книгу и отвернулся с ней от командарма, перелистывал. Командарм одним взглядом взглянул на Попова и тоже не поклонился, сделал вид, что не заметил человека. Когда штабисты ушли, – не приветствуя, точно они виделись вчера вечером, командарм спросил Попова:

– Хочешь чаю, Алеша, или вина?

Но Попов не успел ответить, потому что вперед выступил ординарец, зарпортовал, – "товарищ командарм", – о том, что автомобиль снят с платформы, в канцелярию поступили пакеты – один пакет из дома номер первый, привез его секретарь, секретный пакет, – о том, что квартира приготовлена в штабе, – что кипа пришла телеграмм и бумаг с поздравлениями. Командарм отпустил ординарца, сказал, что жить останется в вагоне. Командарм приехал сей-

² Семинар (устар.) – семинарист. (Прим. ред.)

час не к армии, но в чужой город; его город, где была его армия, лежал отсюда в тысячах верст, там, в том городе, в том округе остались его дела, заботы, будни, жена. Проводник, не дожидаясь ответа Попова, поставил на стол стакан для чая и стакан для вина. Попов вылез из своего угла, подсел к командарму.

– Как твое здоровье, Николаша? – спросил Попов заботливо, так, как спрашивают братья.

– Здоровье мое – как следует, совсем наладилось, здоров, – а вот, чего доброго, придется тебе стоять у моего гроба в почетном карауле, – ответил Гаврилов, не то шутя, не то серьезно: во всяком случае, невеселой шуткой. Эти двое, Попов и Гаврилов, были связаны старинной дружбой, совместной подпольной работой на фабрике, тогда, далеко в молодости, когда они начинали свои жизни орехово-зуевскими ткачами; там в юности затерялась река Клязьма, леса за Клязьмой по дороге в город Покров, в Покровскую пустынь, где собирались комитетчики: там была голоштанная ткачья молодость с подпольными книжечками, с изданиями "Донской речи", – с "Искрой", как евангелие, с рабочими казармами, сходками, явками, с широкой площадью у станции, где в пятом году свистали над рабочими толпами казачьи пули и плетки; потом была – совместная Богородская тюрьма, – и дальше – бытие революционера-профессионала – ссылка, побег, подполье, таганская пересыльная, ссылка, побег, эмиграция, Париж, Вена, Чикаго, – и тогда: тучи четырнадцатого года, Бриндизи, Салоники, Румыния, Киев, Москва, Петербург, – и тогда: гроза семнадцатого года, Смольный, Октябрь, гром пушек над московским Кремлем, и – один начальник штаба Красной гвардии в Ростове-на-Дону, а другой – предводитель пролетарского дворянства, как сострил Рыков, в Туле, для одного тогда – войны, победы, командирство над пушками, людьми, смертями, – для другого – губкомы, исполкомы, ВСНХ, конференции, собрания, проекты и доклады: для обоих – все, вся жизнь, все мысли во имя величайшей в мире революции, величайшей в мире справедливости и правды. Но навсегда один другому – Николаша, один другому – Алексей, Алешка, – навсегда товарищи, ткачи, без чинов и регламентов.

– Ты мне расскажи, Николаша, как твое здоровье, – спросил Попов.

– Видишь ли, у меня была, а может быть, и есть, язва желудка. Ну, знаешь, боли, рвота кровью, изжоги страшные, – так, гадость страшная, – командарм говорил негромко, наклонившись к Алексею. – Посылали меня на Кавказ, лечили, боли прошли, стал на работу, проработал полгода, опять тошнота и боли, опять поехал на Кавказ. Теперь опять боли прошли, даже выпил для пробы бутылку вина... – Командарм перебил себя: – Алешка, может, вина хочешь, вон там, под лавкой, – я привез тебе ящичишко, откупори.

Попов сидел, подперши голову ладонью, он ответил:

– Нет, я с утра не пью. Ты говори.

– Ну, вот, здоровье мое совсем в порядке. – Командарм помолчал. – Скажи, Алешка, зачем меня вызвали сюда, не знаешь?

– Не знаю.

– Пришла бумага, – выехать прямо из Кавказа, – даже к жене не заезжал. Командарм помолчал. – Черт его знает, не могу придумать, в чем дело, в армии все в порядке, ни съездов, ничего... А ты бывал на Кавказе? – Вот на самом деле; замечательная страна, – поэты у нас ее называют – полуденная, – я не понимал, к чему такое слово: побыл – правильно – полуденная!.. – Граната съешь, Алеша, – мне нельзя, ординарцев угощаю. – Как дела?

Командарм говорил об армии, он переставал быть ткачом и становился полководцем и красным генералом Красной Армии; командарм говорил об Орехово-Зуеве и орехово-зуевских временах, – и не замечал, должно быть, как становился он ткачом, – вот тем ткачом, который тогда там полюбил заречную учительницу, чистил для нее сапоги и ходил босиком до школы, чтобы не пылились сапоги, и только в лесочке у школы обувался, – купил для нее фантазию с бантом и шляпу "а-ля черт побери", и все же дальше разговоров о книжечках никуда с училкой не забрел, не вышло у них романа, отвергла его учительша. Командарм-ткач был уютным,

хорошим человеком, умевшим шутить и видеть смешное, – и он шутил, разговаривая с другом; лишь изредка спохватывался командарм, делался непокойным: вспоминал о непонятном вызове, неловко двинулся и говорил тогда здоровым ткачом о больном командарме: "Вельможа, фельдмаршал, сенатор – тоже! – а гречневой каши есть не могу... да, брат, Цека играет человеком, – из песни слова не выкинешь", – и отмалчивался.

– Николаша, ты толком скажи, что ты подозреваешь? – сказал Попов. – Что это ты болтал про почетный караул?

Командарм ответил не сразу, медленно:

– В Ростове я встретил Потапа (он партийной кличкой назвал крупнейшего революционера из "стаи славных" осьмнадцатого года), – так вот, он говорил... убеждал меня сделать операцию, вырезать язву или зашить ее, что ли, подозрительно убеждал. – Командарм смолк. – Я чувствую себя здоровым, против операции все мое нутро противится, не хочу, – так поправлюсь. Болей ведь нет уже никаких, и вес увеличился, и... черт знает, что такое, – взрослый человек, старик уже, вельможа, – а смотрю себе в брюхо. Стыдно. – Командарм помолчал, взял раскрытую книгу. – Толстого читаю, старика, "Детство и отрочество", хорошо писал старик, – бытие чувствовал, кровь... Крови я много видел, а... а операции боюсь, как мальчишка, не хочу, зарежут... Хорошо старик про кровь человеческую понимал.

Вошел ординарец, стал во фронт, отрапортовал, – о том, что из штаба приехали с докладом, что пришла машина за командармом из дома номер первый, просят пожаловать туда, – что новые пришли телеграммы, – что от такого-то прислали за посылкой с юга. Ординарец положил на стол кипу газет. Командарм отпустил ординарца. Командарм распорядился приготовить шинель. Командарм раскрыл газету. Там, в газете, где сообщаются важнейшие события дня, значилось: "Приезд командарма Гаврилова", – и вот на третьей странице было сообщено, что "сегодня приезжает командарм Гаврилов, временно покинувший свои армии для того, чтобы оперировать язву в желудке". В этой же заметке сообщалось, что "здоровье товарища Гаврилова вызывает опасение", но что "профессора ручаются за благоприятный исход операции".

Старый солдат революции, солдат, командарм, полководец, который посылал тысячи людей умирать, завершение военной машины, предназначенной убивать, умирать и побеждать кровью, – Гаврилов откинулся на спинку стула, вытер рукой лоб, пристально посмотрел на Попова, сказал:

– Алешка, слышишь? – это неспроста. – Д-да. Что же делать? – и крикнул: Вестовой, шинель!

Это был уже одиннадцатый час дня, когда по городу расплзлась зеленоватая муть дня, – когда, собственно, не было видно этой зеленой мути, ибо над тем клочком земли, где выстроились дома, заработала машина города, большая, очень сложная, завертевшая, завинтившая все в этом городе – от ломовиков, трамваев и автобусов, от неприбранных постелей в домах до солдат, марширующих на набережной, до торжественной тишины высокопотолочных бухгалтерских зал и наркоматских кабинетов, – сложная машина города, реками погнавшая людей за станки, за столы, за конторки, в автомобили, на улицы, – машина, за которой незаметны были серенькое небо, изморось, слякоть, зеленая муть дня.

ГЛАВА ВТОРАЯ

На перекрестке двух главных улиц города, там, где беспечной вереницей текли автомобили, люди, ломовики, – стоял за палисадом дом с колоннами. Дом верно указывал, что так, за палисадом, подпертый этими колоннами, молчаливый, замедленный палисадом, – так простоял этот дом столетью, в спокойствии этого столетия. Вывески на этом доме не было никакой. У ворот этого дома текли люди, гудки автомобилей, толпа, человеческое время, тек серый день, газетчики, люди с портфелями, женщины в юбках до колен и в чулках, обманывающих глаз так, что ноги женщин голы; за грифами ворот время покойствовало и останавливалось. И другой стоял дом в другом конце города, также классической архитектуры, за палисадом, за колоннами, с крыльями флигелей, со страшными рожами мифологической ерунды на барельефах. Этот дом стоял на краю города, перед ним расстилалась площадь, и над площадью вставало серое, в этой части города просторное небо, две заводские трубы, антенны, телеграфные провода. На дворе, на куртинах у этого дома вместо цветов и сирени выросли березы, ныне, в осеннем дне, облетевшие, мокрые, пониклые. За двором и домом падал обрыв, и там текла река, и на лугах за рекой опять ложились – серое небо, фабричные трубы, поселки, церквенка; обрыв оброс березами, ограбленными летним бумом. Ворот к этому дому было двое, на воротах корчили рожи фавны, у ворот разместились сторожки, и на скамейках у сторожек сидят сторожа, в фартуках, в валенках, с медными бляхами на фартуках. У ворот стоял закрытый автомобиль, черный, с красными крестами и с надписью – «Скорая помощь».

В этот день в передовице крупнейшей газеты печаталось – "к трехлетию червонной валюты", – указывалось, что твердая валюта может существовать "только тогда, когда вся хозяйственная жизнь будет построена на твердом хозяйственном расчете, на твердой экономической базе. Дотации и ведение народного хозяйства несоразмерно своему бюджету неминуемо расстроят твердую финансовую систему". Крупным заголовком стояло: "Борьба Китая против империалистов". В зарубежном отделе были телеграммы из Англии, Франции, Германии, Чехословакии, Латвии, Америки. Была напечатана – подвалом – большая статья! "Вопрос о революционном насилии". И было две страницы объявлений, где печаталось крупнейше: "Правда жизни – сифилис". Новая книга С. Бройде "В сумасшедшем доме".

Впрочем, в этом же номере газеты был напечатан добрый один-другой десяток программ театров, варьете, открытых сцен, кино, – и

– если день труда, тумана, очередей, приемных, торжественной тишины высокопотолочных бухгалтерских зал, стрекота ткацких станков на бумаго- и шерстеткацких фабриках, грома молотов на заводах и кузнях, свистов уходящих и идущих паровозов, ревов автобусов и автомобилей, чечетки трамвайных звонков, телефонных звонков, звонков у подъездов, плача радио, – день машины города, людей, мужчин, женщин, детей, стариков, зрелых людей,

– если забежать вперед и сменить день труда и дела на вечер, как это и сделало время, загрузив день сумерками, разлив по улицам свету фонарей, в измороси похожих на заплаканные глаза, – уничтожив небо,

– вечером тогда в кино, в театры, в варьете, на открытые сцены, в кабаки и пивные – пошли десятки тысяч людей. Там, в местах зрелищ, показывали все, что угодно, спутав время, пространство и страны, греков, таких, какими они никогда не были, ассиров, такими, какими они никогда не были, – никогда не бывалых евреев, американцев, англичан, немцев – угнетенных, никогда не бывалых китайцев, русских рабочих, Аракчеева, Пугачева, Николая Первого, Стеньку Разина; кроме того, показывали умение хорошо или плохо говорить, хорошие или плохие ноги, руки, спины и груди, хорошо или плохо танцевать и петь; кроме того, показывали все виды любви и разные любовные случаи, такие, которых почти не случается в будничной жизни. Люди, принарядившись, сидели рядами, смотрели, слушали, хлопали в ладоши и,

выливаясь по светлым лестницам театров на мокрые улицы, наспех комментировали, всегда стараясь быть умными. Улицы тогда пустели, чтобы отдохнуть в ночи, – и ночью, у полночи, в тот час, когда в деревнях первые поют петухи, по домам в постелях мужа и жены, любовники и любовницы, в огромном большинстве случаев одинокими парами отдавались тому, чем звери, птицы и насекомые занимаются в рассвете и закате дня.

Но день шел своим порядком, отсчитывая часы на часах контор, банков, заводов и фабрик, на часах у площадей и на карманных часах. Многожды начинал падать дождь и многожды переставал. Однажды посыпал было снег, чтобы гуще размешать слякоть на мостовых. Машина города работала, как подобает, как всякая машина.

В полдень к дому номер первый, к тому, что замедлил время, подошел закрытый ройс. Часовой открыл дверцу, из лимузина вышел командарм. В бою, когда люди бегут в атаку, шумят больше, чем в час, когда бьет артиллерия, артиллерия ревет громче, чем полк на бивуаке, – в полковых штабах шумнее, чем в дивизионных: в штабах армий должна быть жесткая тишина – на митингах кричат громче, чем в президиуме, – еще тише на заседаниях президиума губисполкома.

В этом доме улеглась бесшумная тишина, глухо звонили телефоны, не шумели счеты, бесшумно ходили люди, не волновались люди, не горбились люди, прямо стояли стены в плакатах, заменивших картины, красные лежали половики, с красными нашивками стояли люди у дверей. В кабинете в дальнем конце дома окна были полуприкрыты гардинами, – и за окнами бежала улица; в кабинете горел камин; на столе в кабинете – на красном сукне – стояли три телефонных аппарата, чтобы утвердить тишину совместно с потрескивающими в камине поленьями, три телефонных аппарата – три городских артерии приводили в кабинет, чтобы из тишины командовать городом, знать о городе, о всех артериях. В кабинете на письменном столе массивный, из бронзы стоял письменный прибор и в подставке для перьев воткнута была дюжина красных и синих карандашей. На стене в кабинете, за письменным столом был проложен радиоприемник с двумя парами наушников и ротой во фронт выстроилась система электрических звонков от звонка в приемную до звонка "военной тревоги". Против письменного стола стояло кожаное кресло. За письменным столом в кабинете на деревянном стуле сидел негорбящийся человек. Гардины на окнах были полуприкрыты, и под зеленым абажуром на письменном столе горело электричество, – и лица этого негорбящегося человека не было видно в тени.

Командарм прошел по ковру и сел в кожаное кресло.

Первый – негорбящийся человек:

– Гаврилов, не нам с тобой говорить о жернове революции. Историческое колесо – к сожалению, я полагаю – в очень большой мере движется смертью и кровью, – особенно колесо революции. Не мне и тебе говорить о смерти и крови. Ты помнишь, как мы вместе с тобой вели голых красноармейцев на Екатеринов. У тебя была винтовка, и винтовка была у меня. Снарядом под тобой разорвало лошадь, и ты пошел вперед пешком. Красноармейцы бросились назад, и ты пристрелил одного из нагана, чтобы не бежали все. Командир, ты застрелил бы и меня, если бы я струсил, и ты был бы, я полагаю, прав.

Второй, командарм:

– Эх, как ты тут обставился, совсем министр, – у тебя здесь курить можно? Я окурков не вижу.

Первый: – Не кури, не надо. Тебе здоровье не позволяет. Я сам не курю.

Второй, строго, быстро:

– Говори без предисловий, – зачем вызвал? Не к чему дипломатить. Говори!

Первый: – Я тебя позвал потому, что тебе надо сделать операцию. Ты необходимый революции человек. Я позвал профессоров, они сказали, что через месяц ты будешь на ногах.

Этого требует революция. Профессора тебя ждут, они тебя осмотрят, все поймут. Я уже отдал приказ. Один даже немец приехал.

Второй: – Ты как хочешь, а я все-таки закурю. Мне мои врачи говорили, что операции мне делать не надо, и так все заживет. Я себя чувствую вполне здоровым, никакой операции не надо, не хочу.

Первый сунул руку назад, нащупал на стене кнопку звонка, позвонил, вошел бесшумный секретарь, – первый спросил: "есть ли на очереди к приему", секретарь ответил утвердительно. Первый – ничего не ответил, отпустил секретаря.

Первый: – Товарищ командарм, ты помнишь, как мы обсуждали, послать или не послать четыре тысячи людей на верную смерть. Ты приказал послать. Правильно сделал. – Через три недели ты будешь на ногах. – Ты извини меня, я уже отдал приказ.

Звонил телефон, не городской, внутренний, тот, который имел всего-навсего каких-нибудь тридцать-сорок проводов. Первый снял трубку, слушал, переспросил, сказал: – "Ноту французам, – конечно, официально, как говорили вчера. Ты понимаешь, помнишь, мы ловили форелей? Французы очень склизкие. Как? Да, да, подвинти. Пока".

Первый: – Ты извини меня, говорить тут не о чем, товарищ Гаврилов.

Командарм докурил папиросу, всунул окурочок к синим и красным карандашам, поднялся из кресла.

Командарм: – Прощай.

Первый: – Пока.

Командарм красными коврами вышел к подъезду, роис унес его в шум улиц. Негорбящийся человек остался в кабинете. Никто больше к нему не приходил. Не горбясь сидел он над бумагами, с красным толстым карандашом в руках. Он позвонил, – вошел секретарь, – он сказал: "Распорядитесь убрать окурочок, вот отсюда, из этой подставки". И опять безмолвствовал над бумагами, с красным карандашом в руках. Прошли час и другой, человек сидел за бумагами, работал. Однажды звонил телефон, он слушал и ответил: "Два миллиона рублей галошами и мануфактурой для Туркестана, чтобы заткнуть бестоварную дыру. Да, само собою. Да, валяй. Пока". Входил бесшумно коридорный человек, поставил на столике у окна поднос со стаканом чая и куском холодного мяса, прикрытым салфеткой, ушел. Тогда негорбящийся человек вновь позвонил секретарю, спросил: "Секретная сводка готова?" – И вновь надолго человек безмолвствовал над большим листом, над рубриками Наркоминдела, Полит– и Экономотделов ОГПУ, Наркомфина, Наркомвнешторга, Наркомтруда. Тогда в кабинет вошли – один и другой, – люди из той тройки, которая вершила.

Над городом шел желтый в туманной мути день. К трем начали синеть, сереть переулки и небо. Небо – огромной фабрикой занялось покупкой и продажей стеганых одеял, просаленных до серого лоска.

В четыре часа, когда город заплакал мокрыми стеклами фонарей, подведенных, как глаза проституток, когда особенно много людей на улицах, режут рожки автомобилей, гудят заводы и поезда и трещат трамваи, – к дому номер два, на окраину, подъезжало несколько автомобилей. Дом кутался во мрак, точно мрак мог согреть промозглую сырость. Те окна дома, что выходили к заречному простору, отгорали последней щелью заката, и там, за этим простором эта щель точила, истекала запекшейся, полиловевшей кровью. – У ворот дома стали два милиционера, рядом со сторожами в фартуках и валенках. У дверей в парадный ход стали два милиционера. Краском с двумя орденами Красного Знамени, гибкий, как лозина, – с двумя красноармейцами, – вошел в подъезд. В доме шел час отдыха, тишало, только где-то далеко пела хожалка негромкую песню о том, как выйдет она на реченьку, поглядит на быстрюю. Краскома с красноармейцами в прихожей встретил человек в белом халате. "Да-да-да, знаете ли" – и тогда смолкла заречная песня хожалки. В приемной окна выходили на заречный простор. Здесь окна были без гардин. Здесь стены были выкрашены белой краской, и с потолка здесь падал белый

электрический свет. Телефонов здесь не было. Комната была велика и пуста. Посреди ее расставился стол в белой клеенке, и вокруг стола стояли – казенного образца, как на железных дорогах, – клеенчатые стулья с высокими спинками. У стены поместился клеенчатый диван, покрытый простыней, у дивана деревянный табурет. В углу над раковиной, на стеклянной полке расставлены были пузырьки с разными номенклатурами, бутыллица с сулемой, банка с зеленым мылом, – висели около желтые, неподсиненные полотенца. С первыми автомобилями приехали профессора, терапевты, хирурги. В приемную приходили люди в сюртуках и черных жакетах; эти люди снимали пиджаки и облачались в белые халаты. Сукровица заречного заката в окнах умерла. Люди входили, здоровались, встречал их хозяином – высокий человек, бородастый, добродушный, лысый. Люди науки, медицины, в частности, в огромном большинстве случаев почему-то очень некрасивы: или у них не доросли скулы, или гипертрофировались скулы так, что скулы расставлены шире ушей; глаза у них почти всегда под очками, или сели на висках, или залезли в самые углы глазниц; судьба одних лишила благословения волосами, и реденькая борода растет у них на шее, – у других же волос прет не только на скулах и подбородке, но и на носу и на ушах; и, быть может, это обстоятельство создало в среде ученых обычай чудачества, когда каждый ученый обязательно чудак, причем чудачество его – увеличивает его ученость. Впрочем, сейчас в этой приемной чудачеств, должно быть, не было. Тот, который встречал хозяином, хирург, профессор, заросший волосами так, что волосы росли на носу, чудачествовал только обильным этим бурным волосом, на котором сидели маленькие очки, – и чудачеством блистала его лысина. К нему навстречу прошел профессор Лозовский, человек лет тридцати пяти, бритый, в сюртуке, в пенсне с прямою перекладиной, с глазами, влезшими в углы глазниц.

– Да-да-да, знаете ли.

Бритый человек передал волосатому разорванный конверт с сургучной печатью. Волосатый человек вынул лист бумаги, поправил очки, прочел, – опять поправил очки, недоуменно, передал лист третьему.

Бритый человек, торжественно:

– Как видите, секретная бумага, почти приказ. Ее прислали мне утром. Вы понимаете.

Первый, второй, третий – отрывки разговоров, негромко, поспешно.

– При чем тут консилиум?

– Я приехал по экстренному вызову. Телеграмма пришла на имя ректора университета.

– Командарм Гаврилов, – знаете, тот, который.

– Да-да-да, знаете ли, – революция, командир армии, формула, – и пож-жалуйте.

– Консилиум.

– Вы его видели, господа, – товарища Гаврилова, – что за человек?

– Да-да-да, знаете ли, батенька.

Электричество здесь падало резко вырезанными тенями. Рана заката унесла за собой во мрак заречный простор. Один другого взял за пуговицу нагрудного кармана у халата; один другого взял под руку, чтобы пройтись. Тогда:– громко, медленно, покойно – один, другой, третий:

– Доклад профессора Опделя о внутренней секреции на съезде хирургов. Я оппонировал – двенадцатиперстная кишка.

– Сегодня в Доме ученых.

– Спасибо, жена здорова, немного старший колитом. А как Екатерина Павловна?

– Павел Иванович, ваша статья в "Общественном враче".

Тогда:– в дверях громыхнули винтовки красноармейцев, топнули каблуки, красноармейцы умерли в неподвижности; в дверях появился высокий, как лозина, юноша с орденами Красного Знамени на груди, гибкий, как хлыст, стал во фронт перед дверью, – и быстро вошел в приемную командарм, откинул рукой волосы назад, поправил ворот гимнастерки, – сказал:

– Здравствуйте, товарищи. – Прикажете раздеваться?

Тогда:– профессора медленно сели на клеенчатые стулья за стол, положили локти на стол, размяли руки, поправили очки и пенсне, попросили сесть больного. Тот, который передал пакет, у которого глаза под прямыми пенсне вросли в глазницы, сказал волосатому:

– Павел Иванович, вы как *primus inter pares*³, я полагаю, не откажетесь председательствовать.

– Прикажете раздеваться? – спросил командарм и взялся рукой за ворот.

Председатель консилиума, Павел Иванович, сделав вид, что он не слышал вопроса командарма, медленно сказал, садясь на председательское место:

– Я полагаю, мы спросим больного, когда он почувствовал приступы болезни и какие патологические признаки указали ему на то, что он болен. Потом мы осмотрим больного.

...От этого совещания профессоров остался лист бумаги, исписанный неразборчивым профессорским почерком, причем бумага была желта, без линеек, плохо оборванная. – бумага из древесного теста, которая, по справкам спецов и инженеров, должна истлеть в семь лет.

Протокол консилиума, в составе проф. такого-то, проф. такого-то, проф. такого-то (так семь раз).

Больной гр. Николай Иванович Гаврилов поступил с жалобой на боль в подложечной области, рвоту, изжогу. Заболел два года назад незаметно для себя. Лечился все время амбулаторно и ездил на курорты – не помогло. По просьбе больного был созван консилиум из вышеозначенных лиц.

*Status praesens*⁴. Общее состояние больного удовлетворительно. Легкие – N. Со стороны сердца наблюдается небольшое расширение, учащенный пульс. В слабой форме *neurastenia*⁵. Со стороны других органов, кроме желудка, ничего патологического не наблюдается. Установлено, что у больного, по-видимому, имеется *ulcus ventriculi*⁶ и его необходимо оперировать.

Консилиум предлагает больного оперировать профессору Анатолию Кузьмину Лозовскому. Проф. Павел Иванович Кокосов дал согласие ассистировать при операции.

Город, число, семь подписей профессоров.

Впоследствии, уже после операции, из частных бесед было установлено, что ни один профессор, в сущности, совершенно не находил нужным делать операцию, полагая, что болезнь протекает в форме, операции не требующей, – но на консилиуме тогда об этом не говорилось; лишь один молчаливый немец сделал предположение о ненужности операции, впрочем, не настаивая на нем после возражения коллег; да рассказывали еще, что уже после консилиума, садясь в автомобиль, чтобы ехать в Дом ученых, профессор Кокосов, тот, у которого глаза заросли в волосах, сказал профессору Лозовскому: – "Ну, знаете ли, если бы такая болезнь была у моего брата, я не стал бы делать операции", – на что профессор Лозовский ответил: – "Да, конечно, но... но ведь операция безопасная"... – Автомобиль зашумел, пошел. Лозовский уселся поудобнее, поправил фалды пальто, наклонился к Кокосову, сказал шепотом, так, чтобы не слышал шофер:

– А страшная фигура, этот Гаврилов, ни эмоции, ни полутона, – "прикажете, раздеваться? – я, видите ли, считаю операцию излишней, – но, если вы, товарищи, находите ее необходимой, укажите мне время и место, куда я должен явиться для операции". – Точно и коротко.

– Да-да-да, батенька, знаете ли, – большевик, знаете ли, ничего не поделаешь, – сказал Кокосов.

³ Первый среди равных (лат.). (Прим. Ред.)

⁴ Теперешнее состояние (лат.)

⁵ Неврастения (лат.)

⁶ Язва желудка (лат.)

Вечером в этот день, в тот час, когда в кино, в театрах, варьете, в кабаках и пивных толпились тысячи людей, когда шальные автомобили жрали уличные лужи своими фонарями, выкраивая этими фонарями на тротуарах толпы причудливых в фонарном свете людей, – когда в театрах, спутав время, пространства и страны, небывалых греков, ассиров, русских и китайских рабочих, республиканцев Америки и СССР, актеры всякими способами заставляли зрителей неистовствовать или рукоплескать, – в этот час над городом, над лужами, над домами поднялась не нужная городу луна; облака шли очень поспешно, и казалось, что луна испугана, торопится, бежит, прыгает, чтобы куда-то поспеть, куда-то не опоздать, белая луна в синих облаках и в черных провалах неба.

В этот час негорбящийся человек в доме номер первый все еще сидел в своем кабинете. Окна были глухо закрыты занавесами, вновь горел камин. Дом замер в тишине, точно эту тишину копили столетия. Человек сидел на деревянном своем стуле. Теперь перед ним были открыты толстые книги на немецком и английском языках, – он писал, – по-русски, чернилами, прямым почерком, в немецком *Lainen-Post*. Те книги, что были раскрыты перед ним, были книгами о государстве, праве и власти.

В кабинете падал с потолка свет, и теперь видно было лицо человека: оно было очень обыденно, быть может, чуть-чуть черство, но, во всяком случае, очень сосредоточенно и никак не утомленно. Человек над книгами и блокнотом сидел долго. Потом он звонил, и к нему пришла стенографистка. Он стал диктовать. Вехами его речи были СССР, Америка, Англия, земной шар и СССР, английские стерлинги и русские пуды пшеницы, американская тяжелая индустрия и китайские рабочие руки. Человек говорил громко и твердо, и каждая его фраза была формулой.

Над городом шла луна.

В этот час командарм сидел у Попова в гостиничном номере большой гостиницы, населенной исключительно коммунистами, поселившимися здесь в восемнадцатом году, когда в дыму восстаний необходимо было держаться друг возле друга. Номер был велик, богато обставлен, но, как все номера всех гостиниц, указывал на временность, на дорогу, сущностью своей противной уюту. Их сидело трое – Гаврилов, Попов и двухлетняя дочка Попова Наташка. Попов валялся на диване, Гаврилов сидел у стола, и на коленях у него гомозилась Наташка. Гаврилов зажигал спички; удивленно, как могут удивляться таинственному в мире только дети, Наташка смотрела на огонь, складывала трубкой губы и дула на огонь, не сразу хватало дыхания потушить спичку, потом спичка тухла, и тогда столько изумления, восторга и страха перед таинственным было в голубых глазах Наташи, что нельзя было не зажечь новой спички, нельзя не склонить голову перед таинственным, что самую собою несла Наташа. Потом Гаврилов укладывал Наташку спать, сел около ее постельки, сказал: "Ты закрой глаза, а я буду тебе песни петь", – и запел, не умея петь, не зная никакой песни, придумывал песню здесь же:

Пришел козёл, сказал:

«А ты спи, спи, спи, спи, спи»,

улыбнулся, хитро посмотрел на Наташу и на Попова и пропел то, что впервые пришло ему на ум из созвучия слов «спи, спи, спи, спи», запел:

Пришел козёл, сказал:

"А ты спи, спи, спи, спи, спи..."

Но не пис, пис, пис, пис, пис..."

Наташа открыла глаза, улыбнулась, а Гаврилов так и пел эти две последние строчки неумелым голосом (плохо, в сущности, пел), пока не заснула Наташа.

Тогда Гаврилов и Попов вдвоем пили чай. Попов с красным чайником, на котором белой эмалью было написано: "товарищу Попову от рабочих и работниц завода Лысьва в день Пятой Годовщины Октября". С этим чайником ходил на кухню к кубу за кипятком. На газете он расставил стаканы, тарелки с маслом и сыром, в кульке был сахар, в другом кульке был хлеб. Попов спрашивал: – "Не сварить ли тебе, Николка, манной каши?"

Сидели друг против друга, говорили негромко, медленно, никуда не спешили, чаю выпили много, Гаврилов пил с блюдечка, расстегнул ворот гимнастерки. После мелочей о том о сём, за вторым стаканом чая, не допив половины, Попов отставил стакан, помолчав, сказал:

– Николка, а моя Зина от меня ушла, ребенка бросила мне на руки, ушла к какому-то инженеру, которого раньше любила, шут его знает. Судить ее мне неохота, не хочу мараться плохими словами, а все-таки, надо сказать, убежала по-сучьи, не сказав, скрыв. Не хочется так думать, что никогда она меня и не любила, а содержанилась из-за моего положения, но, все-таки, так получается, что убежала от меня из-за шелковых чулков, из-за духов, там, и пудры. И самому мне стыдно, подобрал человека в яме, на фронте, заботился, любил и, как дурак, грел человека, а он оказался барынькой – проглядел человека, который со мной пять лет прожил.

И Попов подробно рассказывал о всех мелочах расхождения, которые всегда так мучительны именно своей мелочностью, той мелочностью, той мелочью, за которой не видно большого. Тогда стали говорить о детях, и Гаврилов рассказывал о своей жене, которая уже постарела и все же единственная на всю жизнь для Гаврилова. Долго говорили о Наташе, с которой, – ну, вот, – как с ней поступить Попову, когда он и на горшочек как следует посадить не может, и убаюкать не умеет. Книги показывал Попов – Водовозову, Монтессори, Пинкевича, разводил руками, и – чай все время пили остывшим.

Луна спешила над городом. В тот час, когда городские улицы пустели, чтобы отдохнуть в ночи, в деревнях запели первые петухи, когда люди, прожевывая ужин, дневные впечатления и умные сентенции об этом дне, лезли – мужья, жены, любовники, любовницы в постели, – Гаврилов уходил от Попова.

– Ты мне дай почитать чего-нибудь, – только, знаешь, попроще, про хороших людей, про хорошую любовь, о простых отношениях, о простой жизни, о солнце, о людях и простой человеческой радости.

Такой книги не нашлось у Попова.

– Вот тебе и революционная литература, – сказал, пошутив, Гаврилов. – Ну, ладно, я еще раз почитаю Толстого. Уж очень хорошо у него про старые перчатки на балу. – И Гаврилов потемнел, замолчал, сказал тихо: – Я тебе, Алешка, не говорил, чтобы на пустые разговоры время не тратить. Был я сегодня по начальству и в больнице, у профессоров. Профессорье умственность разводило. Не хочу резаться, естество против. Завтра мне ложиться под нож. Ты тогда приходи в больницу, не забывай старину. Детишкам моим и жене ничего не пиши. Прощай! И Гаврилов вышел из комнаты, не пожав руки Попова.

У гостиницы стояла крытая машина. Гаврилов сел, молвил:– "Домой, в вагон", – и машина пошла в переулки. На запасных путях луна скользила по рельсам; пробежала собака, визгнула и скрылась в простор черной рельсовой тишины. У ступенек вагона стоял часовой, замер, пока проходил командарм. Вырос в коридоре ординарец, высунул голову проводник, – вспыхнуло в вагоне электричество, – и такая безмолвная, глубокая, провинциальная тишина стала в вагоне. Командарм прошел в купе-спальню, снял сапоги, надел ночные туфли, расстегнул ворот гимнастерки, – позвонил – "чаю". Прошел в салон, сел к настольной лампе, проводник принес чаю, но командарм не прикоснулся к нему; командарм долго сидел над книгой "Детство и отрочество", читал, думал над книгой. Тогда командарм ходил в спальню, принес большой блокнот, позвонил, сказал вестовому: – "Чернил, пожалуйста" – и медленно стал писать, думая над каждой фразой. Написал одно письмо, перечитал, обдумал, заклеил в конверт. Второе письмо написал, обдумал, заклеил. И третье письмо написал, очень корот-

кое, писал, торопясь, – запечатал не перечитывая. В вагоне немотствующая тишина. Замер у подножки часовой. Замерли в коридоре ординарец и проводник. Замерло, казалось, время. Письма долго лежали перед командармом, в белых пакетах, с надписанными адресами. Тогда командарм взял большой пакет, все три письма запечатал в него и на пакете написал: "Вскрыть после моей смерти". И буднично поднялся, чтобы пойти спать: снял в спальне гимнастерку, ходил мыться перед сном, раздевался, лег, потушил свет. И часа три-четыре вагон пребывал во мраке и безмолвии. Это был час третьих петухов. Если бы проводник взглянул тогда в купе командарма, он увидел бы там – неожиданно для себя – в том месте, где должна была быть голова командарма, красный огонек папиросы, – неожиданно для себя потому, что обычно командарм не курил.

И тогда резко зазвонил звонок от командарма к проводнику.

Командарм говорил голосом полковника:

– Одеться. Теплую шинель. Позвонить в гараж, – гоночную, открытую, двухместную, – править буду сам. Соединить с Домом Советов, с номером Попова.

В телефон к Попову командарм сказал:

– Алексей. Я сейчас выезжаю за тобой. Сойди к подъезду. Говорит Гаврилов. Не замедли.

Беговая, двухместная, стосильная рванула с места сразу на второй скорости, веером, разворачиваясь, кинула снопы белого света, – шофер отбежал в сторону, у рулей сидел командарм, – рывкнул гудок, машина пошла раскраивать осколки луж, переулки, вывески лавок и учреждений, рвущая ветер и пространство. Попов стоял недоумевающий, заспанный. Машина, должно быть, здорово порвала резину шин, сломав скорость перед подъездом Дома Советов. Попов сел молча. И машина стала отбрасывать назад улицы, переулки, плеск луж, свет фонарей. Воздух все твердел и твердел, прорвался воем ветра, засвистел в машине, стал ледяным и колючим, – фонари на перекрестках размахивались своими огнями, налетали и стремглав бросались назад, – один, другой просвистели милиционеры. Но машина уже вырвалась из груд домов и улиц, выходила за заставу, сначала в просторы пустырей и редких газовых рожков на трамвайных линиях, – потом в черный мрак полей. Все скорости были открыты. Воздух и ветер сошли с ума, резали, мешали дышать. Шоссе под машиной давно уже слилось в белый ровный плат, где не видно ни впадин, ни каменных куч по краям шоссе, – лишь тогда, когда уж очень велики были впадины на шоссе, взлетала машина над землей и несколько саженей летела по воздуху, теряя шум летящих из-под шин камней. Раз, и два, и три огни машины упирались в стены деревенских изб, избы овцами бросались в стороны, и деревня оставалась позади в собачьем визге. В ложине между двух холмов запутались огни машины в серых космах осеннего тумана, и узналось, что и туман может лететь, визжать, стремиться, выть метелью и пургой колоть лицо. Гаврилов сидел, склонившись над рулем, вниманье, точность и расчет, – и все вперед, вперед, сильнее, сильнее, быстрее – гнал Гаврилов машину. Попов давно уже сидел на четвереньках на дне машины, судорожно держась руками за дно машины и не выглядывая оттуда. Так, в срок меньше часа, машина прорвала расстояние верст в сто. Там, на опушке какого-то старого леса, машина потеряла свои скорости, обессилела, замолкла, отпустила на покой ветры, холод, – мчашую, косую изморось поставила на ноги, в отвес, – машина стала. Попов сел на место. Гаврилов сказал:

– Дай папироску, Алешка.

Попов ответил:

– Ну тебя к черту с этими фокусами, у меня все печенки в пятки переселились. – На, кури, черт бы тебя побрал.

Гаврилов закурил, откинулся, отдыхая, на спинку, раздумчиво сказал:

– Когда я очень переутомлюсь, когда у меня ум за разум заходит, я беру машину и мчу. Это мчание приводит меня и мои мысли в порядок. Я помню все до одного эти мчания. И помню все до мелочей, что было в этих мчаниях, все разговоры, все фразы, до интонации

голоса, до того, как светится окурок. У меня плохая память, я все забываю, – я не помню даже того, что было в самые ответственные дни боев, – мне об этом рассказывали потом. Но эти мчания я помню абсолютно. Я сейчас машину вел безумно, с девяноста девятью шансами разбиться, но каждое мое движение точно, и разбиться нельзя. Я пьян непонятным опьянением точности. Но если бы мы разбились, мне было бы только хорошо. Давай говорить.

Гаврилов энергическим жестом отбросил окурок, выпрямился на сиденье, замолчал, должно быть, прислушиваясь к себе, – замолчал торжественно в гордости.

– Впрочем, молчи, – мы еще поговорим. Сиди! Мы еще помчим. Мне хорошо, потому что это мчание, это стремление есть то, ради чего надо жить, стоит жить, ради чего мы живем. Мы друг другу все сказали нашими жизнями. Сиди! Надо иной раз помолчать! – с гордостью сказал Гаврилов.

И машина зарвала пространство – обратной дорогой, зашарашила ветер, время, туманы, деревни, заставила туманы и время плясать, кричать и бежать, с тем чтобы вновь загнать Попова на четвереньки, зацепить его руки за что попало, что покрепче, – чтобы зажмурить его глаза в страхе и переселить печенки в пятки.

С холма над городом виден был на несколько моментов весь город, – там, внизу, в тумане, в мутных огнях и отсветах огней, в далеком рокоте и шуме, город показался очень несчастным.

К заставам машина подходила в тот час, в рассветный серый час, когда над городом гудят заводские гудки.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Смерть Гаврилова

Первый снег, тот снег, что выводит землю из осени в зиму, всегда падает ночами, чтобы положить рубежи между осенней слякотью, туманом, изморосью, палыми листьями и уличным сором, что были вчера, – и между белым бодрым днем зимы, когда исчезли все трески и шумы и когда в тишине надо подтянуться человеку, подумать внутрь и никуда не спешить.

Первый снег выпал в день смерти Гаврилова. Город затих белой тишиной, побелел, успокоился, и на деревьях за окнами осыпали снег синички, прилетевшие из-за города вместе со снегами.

Профессор Павел Иванович Кокосов всегда просыпался в семь утра, и в этот же час он проснулся в день операции. – Профессор высунул голову из-под одеяла, отхаркался, потянулся волосатой рукой к ночному столику, привычно нашарил там очки, оседлал ими нос, вправив стекла в волосы. За окном на березе сорилась снегом синичка. Профессор надел халат, вставил ноги в домашние туфли и пошел в ванную. Потолки в квартире профессора Кокосова были низки, провинциально, – в этой квартире профессор, должно быть, прожил лет двадцать, потому что – по меньшей мере двадцатилетию надо потратить свои досуги на тщательно протертую и втертую пыль, на пожелтевшие занавесочки, на выцветшие картинки, на кожаные книги, на то, чтобы продавить диван, чтобы до ненужного приладить каждую вещь в доме и на письменном столе, – от именной (подарок студентов) спичечницы, от истлевшей ручки для писания, обтянутой оленьей кожей и сделанной в виде оленьей ноги (память Швейцарии), – до ночного под кроватью горшка, полупившего уже эмаль. В доме было тихо в тот час, когда профессор проснулся, но, когда он, крикая, выходил из ванной, в столовой жена Екатерина Павловна шумела уже чайной ложечкой, размешивая профессору сахар в чае, и в столовой шумел самовар. Профессор вышел к чаю в халате и в туфлях.

– Доброе утро, Павел Иванович, – сказала жена.

– Доброе утро, Екатерина Павловна, – сказал муж.

Профессор поцеловал у жены руку, сел против нее, удобнее устроил в волосах очки, и тогда за стеклами очков стали видны небольшие, поповского склада глазки, и добродушные, и хитрые, – и простоватые, и умные. Профессор в молчании хлебнул чаю, собравшись сказать что-то очередное. Но течение утреннего чайного обычая прервал телефон. Телефон был неурочен. Профессор строго посмотрел на дверь в кабинет, где звонил телефон, подозрительно на жену, на эту стареющую уже, пухлую женщину в японском кимоно, – встал и подозрительно пошел к телефону. В телефон пошли слова профессора, сказанные особенно старческим голосом, ворчливо:

– Ну, ну, я слушаю вас. Кто звонит и в чем дело?

В телефон сказали, что говорят из штаба, что в штабе известно, что операция назначена на половину девятого, что из штаба спрашивают, не нужна ли какая-нибудь помощь, не надо ли прислать за профессором автомобиль. – И профессор вдруг рассердился, засопел в трубку, заворчал:

– ...Я, знаете ли, служу обществу, а не частным лицам, – да, да, да, знаете ли, батенька, – и в клиники езжу на трамвае, ба-батенька. Я выполняю мой долг, извините, по моей совести. И сегодня не вижу причин не ехать на трамвае.

Профессор громко кинул трубку, оборвав разговор, зафыркал, засопел, вернулся к столу, к жене, к чаю. Пофыркал, покусал усы и очень скоро успокоился. Опять из-за очков стали видны глаза, сейчас сосредоточенные и умные. Профессор сказал тихо:

– Захворает в деревне Дракины Лужи мужик Иван, будет три недели лежать на печи, покряхтит, посоветуется со всей родней и поедет в земскую больницу к доктору Петру Ивановичу. Петр Иванович знает Ивана пятнадцать лет, и Иван Петру Ивановичу перетаскал за эти пятнадцать лет полторы дюжины кур, перезнал всех детей Петра Ивановича, одному даже, мальчишке, уши драл на горохе. Иван приедет к Петру Ивановичу, поклонится курочкой. Петр Иванович посмотрит, послушает и, если надо, сделает операцию, тихо, спокойно, толково и не хуже, чем я сделаю. А если не заладится операция, помрет Иван, крест поставят, и все... Или даже ко мне – придет обыватель Анатолий Юрьевич Свиницкий. Расскажет все до седьмого пота. Я его просмотрю и пересмотрю семь раз, изучу его и скажу ему – идите, мол, батенька... Если скажет мне "сделайте операцию" – сделаю, если не хочет, никогда не стану делать.

Профессор помолчал.

– Хуже нет, Екатерина Павловна, консилиумов. Я не хочу обижать Анатолия Кузьмича. Анатолий Кузьмич меня не хочет обидеть. Compliments говорим друг другу и ученость показываем, а больной неизвестно при чем, точно на большевистских показательных процессах, парад с музыкой, – никто больного как следует не знает, – "видите ли, Анатолий Кузьмич, – видите ли, герр Шиман"...

Профессор помолчал.

– Сегодня я ассистирую у себя в больнице при операции над большевиком, командармом Гавриловым.

– Это тот, который, – сказала Екатерина Павловна, – который... ну, в большевистских газетах... ужасное имя! – А почему не вы оперируете, Павел Иванович?

– Ну, ничего особенно ужасного нет, – конечно, – ответил профессор, – а почему Лозовский, – сейчас время такое, молодые в моде, им выдвигаться надо. А все-таки, в конце концов, больного никто не знает после всех этих консилиумов, хоть его прощупывали, просвечивали, прочищали и просматривали все наши знаменитости. А самое главное – человека не знают, не с человеком имеют дело, с формулой, – генерал номер такой-то, про которого каждый день в газетах пишут, чтобы страх на людей наводить. И попробуй сделать операцию как-нибудь не так, по всем Европам протащат, отца позабудешь.

Профессор опять рассердился, засопел, зафыркал, спрятал глаза в волосы, поднялся из-за стола, крикнул в дверь, ведущую в кухню: – "Маша, сапоги!" – и пошел в кабинет одеваться. Расчесал брови, бороду, усы, лысину, надел сюртук, засунул в задний – в фалде – карман свежий носовой платок, обулся в сапоги с самоварно начищенными головками и рыжими голенищами, посмотрел за окно: подана ли лошадь, лошадь у парадного уже стояла, кучер Иван, двадцать лет проживший у профессора Кокосова на кухне, смахивал с сиденья снег.

Комната профессора Анатолия Кузьмича Лозовского не была похожа на квартиру Кокосова. Если квартира Кокосова законсервировала в себя рубеж девяностых и девятисотых российских годов, то комната Лозовского возникла и консервировалась в лета от тысяча девятьсот седьмого до девятьсот шестнадцатого. Здесь были тяжелые портьеры, широкий диван, бронзовые голые женщины в качестве подсвечников на дубовом письменном столе, стены затянуты были коврами и висели на коврах картины, второй сорт с выставок "Мира искусств". Лозовский спал на диване, и не один, а с молодой красивой женщиной; крахмальная его манишка валялась на ковре на полу. Лозовский проснулся, тихо поцеловал плечо женщины и бодро встал, дернул шнурок занавески. Тяжелая суконная занавесь поползла в угол, и в комнату пришел снежный день. Радостно, как могут глядеть очень любящие жизнь в самих себе, Лозовский посмотрел на улицу, на снег, на небо, заботливо, как это делают по утрам холостяки, оглянул комнату, – и, прежде чем пойти умываться, в пижаме и лаковых ночных туфлях, стал убираться в комнате, убрал со стола, поставил на книжный шкаф недопитую бутылку красного вина, вазу с печеньем поставил на книжный шкаф, на нижнюю полку, перебрал на столе пепельницу, чернильницу, блокноты, книги. Воткнул в штепсель провод от электрического чайника, всыпал в чайник

кофе, женщина спала, и видно было, что эта женщина того порядка женщин, которые любят и отдаются любви тихо и преданно. Она сказала, просыпаясь:

– Милый, – открыла счастливо глаза, увидела бодрый зимний день, снег на деревьях, – поднялась с постели, сложила молитвенно руки, счастливо крикнула: Милый, первый снег, зима, милый...

Профессор большие белые свои руки положил на плечи женщины, прислонил ее голову к себе, сказал:

– Да, да, зима, – весна моя, ландыш мой...

В это время позвонил телефон. Телефон у профессора висел над диваном, за ковром. Профессор взял трубку – "да, да, вас слушают". В телефон говорили из штаба, спрашивали, не надо ли прислать за профессором автомобиль.

Профессор ответил:

– Да, да, пожалуйста! Об операции нечего беспокоиться, она пройдет блестяще, я уверен. Насчет машины – пожалуйста – тем паче, что мне надо перед операцией заехать по делам. Да, да, пожалуйста, к восьми часам.

Профессор повесил трубку и сказал женщине, радостно, с гордостью:

– Ландышек, одевайся, за мной пойдет машина, я тебя прокачу и отвезу домой. Спешите! – И он обнял женщину, положив голову к ней на плечо, обнял женщину и положил голову так, как это делают очень счастливые люди.

Было уже без четверти восемь. Мужчина и женщина, поспешая, счастливые, одевались. Профессор, одеваясь, налил в китайские чашечки кофе. Женщина, улыбаясь счастливо, застегивала ему запонку накрахмаленной манишки. Перед тем как уйти из дому, профессор с торжественным лицом и с неким почтительным страхом звонил в телефон: всякими окольными телефонными путями профессор проник в ту телефонную сеть, которая имела всего-навсего каких-нибудь тридцать-сорок проводов; он звонил в кабинет дома номер первый, почтительно он спрашивал, не будет ли каких-либо новых распоряжений, твердый голос в телефонной трубке предложил приехать сейчас же после операции с докладом. Профессор сказал: "Всего хорошего, будет сделано", – поклонился перед трубкой и не сразу повесил ее. Машина уже рывкала перед подъездом.

В день операции, утром, до операции, к Гаврилову приходил Попов. Это было еще до рассвета, при лампах, – но разговаривать не пришлось, потому что хозяйка повела Гаврилова в ванную ставить последнюю клизму. Уходя в ванную, Гаврилов сказал:

– Прочти, Алеша, у Толстого в "Отрочестве" насчет ком-иль-фо и не ком-иль-фо. – Хорошо старик кровь чувствовал! – Это были последние слова перед смертью, которые слышал от Гаврилова Попов.

Попов шел домой в шелестах морозной рассветной тишины, – пошел не по главной улице, – вышел в переулок к обрыву, за которым открывался заречный простор, там на горизонте умирала за снегами в синей мгле луна, – а восток горел красно, багрово, холодно. Попов стал спускаться к реке, чтобы полем пройти в город, – за ним горел восток. Гаврилов стоял в тот миг у окна, смотрел на заречье, – видел ли он Попова? В больничном халате, в ванной у окна стоял человек, орехово-зுவский ткач, имя которого обросло легендами войны, легендами тысяч, десятков тысяч и сотен тысяч людей, стоящих за его плечами, легендами о тысячах, десятках и сотнях тысяч смертей, страданий, калечеств, холода, голода, гололедиц и зноя походов, – о громе пушек, свисте пуль и ночных ветров, о кострах в ночи, о походах, победах и бегствах, вновь о тысячах и смерти. Человек стоял у окна в ванной, заложив руки назад, смотрел в небо, был неподвижен, протянул руку, написал на запотевшем стекле – "смерть, клизма, не ком-иль-фо" – и стал раздеваться.

Перед операцией в коридоре от операционной до палаты Гаврилова поспешно ходили люди, бесшумно суматошились. Вечером перед операцией Гаврилова засовывали в пище-

вод гуттаперчевую кишку, сифон, которым выкачивают желудочный сок и промывают желудок, – такой гуттаперчевый инструмент, после которого тошнит и угнетает психику, точно этот инструмент существует к тому, чтобы унижать человеческое достоинство. В утро перед операцией клизму поставили последний раз. В операционную Гаврилов пришел в больничном халате, в больничных грубого полотна портках и рубашке (у рубашки вместо пуговиц были завязки), в больничных за номером туфлях на босу ногу (белье на Гаврилове переменяли в это утро в последний раз, надели на него стерильное), пришел в операционную побледневшим, похуевшим, усталым. – В предоперационной шумели спиртовки, кипятились длинные никелевые коробки, безмолвствовали люди в белых халатах. Операционная была очень большой комнатой, сплошь – пол, стены, потолки – выкрашенной в белую масляную краску. В операционной было необыденно светло, ибо одна стена была сплошным окном, и это окно уходило в заречье. Посреди комнаты стоял длинный белый операционный стол. Здесь Гаврилова встретили Кокосов и Лозовский. И Кокосов, и Лозовский, в белых халатах, надели на головы белые колпаки, подобно поварам, а Кокосов еще завесил слюнявкой бороду, оставив наружу волосатые глаза. Вдоль стены стоял десяток людей в белых халатах. Гаврилов с хожалкой вошел в комнату. Покойно, молча поклонился профессорам и прошел к столу, посмотрел в окно на заречье, руки скрестил на спине. Вторая хожалка внесла на крючках кипящий стерилизатор с инструментами, длинную никелевую коробку.

Лозовский спросил у Кокосова шепотом:

– Приступим, Павел Иванович?

– Да, да, знаете ли, – ответил Кокосов.

И профессора пошли мыть – еще и еще раз – руки, поливать их сулемой, мазать йодом. Хлороформатор посмотрел маску, потрогал свой пузырек.

– Товарищ Гаврилов, приступим, – сказал Лозовский. – Извольте, будьте добры лечь на стол. Туфли снимите.

Гаврилов посмотрел на сестру чуть-чуть смущенно, одернул рубашку, она взглянула на Гаврилова, как на вещь, и улыбнулась, как улыбаются ребенку. Гаврилов сел на стол, скинул одну туфлю, потом другую, – и быстро лег на стол, поправив под головой валик, – закрыл глаза. Тогда быстро, привычно и ловко хожалка застегнула ремни на ногах, прикрутила человека к столу. Хлороформатор положил на глаза полотенце, обмазал нос и рот вазелином, надел на лицо маску, взял руку больного, чтобы слушать пульс, – и полил маску хлороформом, по комнате поплыл сладкий вязущий запах хлороформа. Хлороформатор отметил час начала операции. Профессора отошли к окну молча. Сестра щипцами стала выкладывать, раскладывать на стерильной марле скальпели, стерильные салфетки, пeаны, кохеры, пинцеты, иглы, шелк. Хлороформ подливал хлороформатор. В комнате застыла тишина. Тогда больной замотал головой, застонал.

– Нечем дышать, снимите повязку, – сказал Гаврилов и лязгнул зубами.

– Повремените, пожалуйста, – ответил хлороформатор.

Через несколько минут больной запел и заговорил.

– Лед прошел, и Волга вскрылась, золотой мой, золотой, я, девчонка, влюбилась, – пропел командарм и зашептал: – А ты спи, спи, спи. – Помолчал, сказал строго: – А клюквенного киселя мне не давайте никогда больше, надоело, это не ком-иль-фо. – Помолчал, крикнул строго, так, должно быть, как кричал в боях: – Не отступать! Ни шагу! Расстреляю... Алеша, брат, скорости все открыты, земли уже не видно. Я все помню. Тогда я знаю, что такое революция, какая это сила. И мне не страшна смерть. – И опять запел: – За Уралом живет плотник, золотой мой, золотой...

– Как вы себя чувствуете? Вам не хочется спать? – тихо спросил Гаврилова хлороформатор.

И Гаврилов обыкновенным голосом, тоже тихо, заговорщицки, ответил:

– Ничего особенного, нечем дышать.

– Повремените еще немного, – сказал хлороформатор и подлил хлороформа.

Кокосов озабоченно посмотрел на часы, склонился над скорбным листом, перечитал его. Есть организмы, которые к тем или иным наркотикам чувствуют идиосинкразию⁷, – Гаврилова усыпляли уже двадцать семь минут. Кокосов подозвал младшего ассистента, подставил ему лицо, чтобы тот поправил очки на носу профессора. Хлороформатор озабоченно прошептал Лозовскому:

– Быть может, отставить хлороформ, попробовать эфир?

Лозовский ответил:

– Попробуем еще хлороформом. В противном случае операцию придется отложить. Неудобно.

Кокосов строго посмотрел кругом, озабоченно опустил глаза. Хлороформатор подлил хлороформу. Профессора молчали. – Гаврилов окончательно заснул на сорок восьмой минуте. Тогда профессора в последний раз протерли спиртом руки. Хожалка обнажила живот Гаврилова, на свет выглянули худые ребра и подтянутый живот. Поле операции – подложечную область – широкими мазками, спиртом, бензином и йодом протер профессор Кокосов. Сестра подала простыни, чтобы прикрыть простынями ноги и голову Гаврилова. Сестра вылила на руки профессора Лозовского полбанки йоду. Лозовский взял скальпель и провел им по коже. Брызнула кровь, кожа расползлась в стороны; из-под кожи вылез желтый, как на баранине, лежащий слоями, с прослойками кровяных сосудов, жир. Лозовский еще раз порезал человеческое мясо разрезал фасции, блестящие, белые, прослоенные лиловатыми мышцами. Кокосов пенами и кохерами неожиданно ловко для его медвежества зажимал кровоточащие сосуды. Другим ножом Лозовский прорезал пузырь брюшины. Лозовский оставил нож, – стерильными салфетками стер кровь. В разрезе внутри видны были кишки и молочно-синий мешок желудка. Лозовский опустил руку в кишки, повернул желудок, обмял его.

На блестящем мясе желудка, в том месте, где должна была быть язва, – белый, точно вылепленный из воска, похожий на личину навозного жука, – был рубец, указывающий, что язва уже зажила, – указывающий, что операция была бесцельна.

Но в этот момент, в этот момент, – в тот момент, когда желудок Гаврилова был в руках профессора Лозовского.

– Пульс! Пульс! – крикнул хлороформатор.

– Дыхание! – казалось, машинально поддакнул Кокосов.

И тогда можно было видеть, как из-за волос и из-за очков вылезли очень злые, страшно злые глаза Кокосова, вылезли и расползлись в стороны, а глаза Лозовского, сидящие в углах глазниц, давя на переносицу, еще больше сузились, ушли вглубь, сосредоточились, срослись в один глаз, страшно острый. У больного не было пульса, не билось сердце и не было дыхания, и холодали ноги. Это был сердечный шок: организм, не принимавший хлороформа, был хлороформом отравлен. Это было то, что человек никогда уже не встанет к жизни, что человек должен умереть, что – искусственным дыханием, кислородом, камфарой, физиологическим раствором – окончательную смерть можно отодвинуть на час, на десять, на тридцать часов, не больше, что к человеку не придет сознание, что человек, в сущности, – умер. Было ясно, что Гаврилов должен умереть под ножом, на операционном столе. – Профессор Кокосов повернул к хажалке свое лицо, сунув его вперед, чтобы хожалка поправила профессору очки, профессор крикнул:

– Откройте окно! Камфары! Физиологический наготове!

⁷ Идиосинкразия – повышенная чувствительность к определенным веществам (мед. термин)

Безмолвная толпа ассистентов стала еще безмолвней. Кокосов, точно ничего не произошло, склонился над инструментами у столика, осмотрел инструмент, молчал. Лозовский также склонился около Кокосова.

– Павел Иванович, – сказал шепотом и злобно Лозовский.

– Ну? – ответил Кокосов громко.

– Павел Иванович, – еще тише сказал Лозовский, теперь уже никак не злобно.

– Ну? – громко ответил Кокосов и сказал: – Продолжайте делать операцию!

Оба профессора выпрямились, поглядели друг на друга, у одного два глаза срослись в один, у другого глаза, вылезли из волосьев. Лозовский на момент отклонился от Кокосова, точно от удара, точно хотел найти перспективу, глаз его раздвоился, заблуждал, – потом слился еще четче, острее, – Лозовский прошептал:

– Павел Иванович!

и опустил руки на рану: он не зашивал, а сметывал полости, он стиснул кожу и стал заштопывать только ее верхние покровы. Он приказал:

– Освободите руки, – искусственное дыхание!

Огромное окно в операционной было открыто, и в комнату шел мороз первого снега. Камфара в человека была впрыснута. Кокосов вместе с хлороформатором отгибал руки Гаврилова и поднимал их вверх, заставлял искусственно дышать. Лозовский штопал рану. Лозовский крикнул:

– Физиологический раствор!

и ассистентка воткнула в грудь человека две толстые, толщиной почти в папиросу, иглы, чтобы через них влить в кровь мертвеца тысячу кубиков жидкой соли, чтобы поддержать кровяное давление. Лицо человека было безжизненно, сине, полиловели губы.

Тогда Гаврилова отвязали от стола, положили на стол с колесиками и отвезли в его палату. Сердце его билось, и он дышал, но сознание не вернулось к нему, как, быть может, не вернулось до последней минуты, когда перестало биться прокамфаренное и искусственно просоленное сердце, когда он – через тридцать семь часов – был оставлен камфарой и врачами – и умер: – быть может, потому, что до последней минуты к нему никто не допускался, кроме этих двух профессоров и сестры, но за час до того, как официально было сообщено о смерти командарма Гаврилова, – случайный сосед по палате слышал странные звуки в палате, точно там перестукивался человек, как перестукиваются арестанты в тюрьмах. Там в палате лежал заживо мертвый человек, прокамфаренный потому, что в медицине есть этический обычай не допускать человеческой смерти под операционным ножом, – и эту палату так тщательно охраняли профессора потому, что умирал командарм, герой гражданской войны, герой великой русской революции, человек, обросший легендами, тот, который имел волю и право посылать людей убивать себе подобных и умирать.

Операция тогда началась в восемь часов тридцать минут и – на столе с колесиками – вывезли Гаврилова из операционной в одиннадцать часов одиннадцать минут. В коридоре тогда швейцар сказал, что профессора Лозовского дважды вызывали по телефону из дома номер первый, – и опять пришел швейцар, сказал, что у телефона ждут. Лозовский пошел к телефону. Лозовский ожидал звонка из дома номер первый. В телефоне прозвучало: "Милый, я соскучилась по тебе", – и у Лозовского на минуту ощерились зубы, он, должно быть, хотел сказать очень злое, но ничего не сказал, бросил трубку. Профессор подошел к конторе, где был телефон, к окну, постоял, посмотрел на первый снег, покусал пальцы и вернулся к телефонной трубке, вник в ту телефонную сеть, которая имела тридцать-сорок проводов, поклонился трубке и сказал, что операция прошла благополучно, но что больной очень слаб и что они, врачи, признали его состояние тяжелым, и попросил извинения в том, что не сможет сейчас приехать. Наверху, в коридоре, между операционной и палатой больного, где утром суматошились и шептались люди, не было теперь ни души.

Гаврилов умер, – то есть профессор Лозовский вышел из его палаты с белым листом бумаги и, склонив голову, печально и торжественно сообщил о том, что больной командарм армии, гражданин Николай Иванович Гаврилов, к величайшему прискорбию, – скончался в час семнадцать минут.

Через три четверти часа, когда доходил второй час ночи, во двор больницы вошли роты красноармейцев, и по всем ходам и лестницам стали караулы. В палату, где был труп командарма, прошли те самые три генштабиста, что приезжали на вокзал встречать командарма, – те самые три человека, для которых Гаврилов – рулевой той громадной машины, которая зовется армией, – был человеком, командовавшим их жизнями; теперь они пришли командовать трупом командира. В этот час в деревнях поют вторые петухи. В этот час по небу ползли облака, и за ними торопилась полная, устающая торопиться луна. В этот час в крытом ройсе профессор Лозовский экстренно ехал в дом номер первый; ройс бесшумно вошел в ворота с грифами, мимо часовых, стал у подъезда, часовой открыл дверцу; Лозовский прошел в тот кабинет, где на красном сукне письменного стола стояли три телефонных аппарата, а за письменным столом на стене ротой во фронт выстроились звонки. Разговор, бывший у Лозовского в этом кабинете, – неизвестен, – но он длился всего три минуты; Лозовский вышел из кабинета – из подъезда – со двора – очень поспешно, с пальто и шляпою в руках, похожий на героев Гофмана; автомобиля уже не было; Лозовский шел, покачиваясь, точно он был пьян; улицы были пустыни в этот неподвижный ночной час, и улицы качались вместе с Лозовским.

Улицы качались под луной в неподвижной пустыне ночи, вместе с Лозовским. Лозовский – Гофманом – вышел из кабинета дома номер первый. В кабинете дома номер первый остался негорбящийся человек. Человек стоял за столом, нависнув над столом, опираясь о стол кулаками. Голова человека была опущена. Он долго был неподвижен. Человека оторвали от его формул и бумаг. И тогда человек задвигался. Его движения были прямоугольны и формульны, как те формулы, которые каждую ночь он диктовал стенографистке. Он задвигался очень быстро. Он позвонил в звонок сзади себя, он снял телефонную трубку. Он сказал дежурному: "Беговую, открытую". Он сказал в телефон тому, кто, должно быть, спал, кто был в тройке первых, – голос его был слаб: – "Андрей, милый, еще ушел человек, Коля Гаврилов умер, нет боевого товарища. Позвони Потапу, голубчик, мы виноваты, я и Потап".

Шоферу негорбящийся человек сказал: – "В больницу". Улицы не качались. В облаках торопилась, суматошилась луна, и, как хлыст, стлался по улицам автомобиль. Черное во мраке здание больницы мигало непокойными окнами. В черных проходах стояли часовые. Дом немотствовал, как надо немотствовать там, где смерть. Негорбящийся человек – черными коридорами – прошел к палате командарма Гаврилова. Человек прошел в палату, – там на кровати лежал труп командарма, – там удушливо пахло камфарой. Все вышли из палаты, в палате остались негорбящийся человек и труп человека Гаврилова. Человек сел на кровать к ногам трупа. Руки Гаврилова лежали над одеялом вдоль тела. Человек долго сидел около трупа, склонившись, затихнув. Тишина была в палате. Человек взял руку Гаврилова, пожал руку, сказал: – Прощай, товарищ! Прощай, брат!

и вышел из палаты, опустив голову, ни на кого не глядя, сказал: "Форточку бы там открыли, дышать нельзя", – и быстро прошел черным коридором, спустился с лестницы.

В деревнях в этот час пели третьи петухи. Человек – молча – сел в машину. Шофер повернул голову, чтобы выслушать приказание. Человек молчал. Человек опомнился, – человек сказал: – "За город! – на всех скоростях".

Машина рванула с места сразу на полной скорости, веером, разворачиваясь, кинула огни, – пошла кроить осколки переулков, вывесок, улиц. Воздух сразу затвердел, задул ветром, засвистал в машине. Летели назад улицы, дома, фонари, – фонари размахивались своими огнями, налетали и стремглав бросались назад. Из всех скоростей машина рвалась за город, стремясь вырваться из самой себя. Уже исчезли рожки пригородных трамваев, уже разбегались

овцами в собачьем визге деревенские избы. Уже не видно было полотна шоссе, и то и дело пропадал шум колес, в те мгновения, когда машина летела по воздуху. Воздух, ветер, время и земля свистели, визжали, выли, прыгали, мчались: и в колоссальном этом мчании, когда все мчалось, – неподвижными стали, идущими рядом, стали – только луна за облаками, да эта машина, да человек, покойно сидящий в машине.

У опушки того самого леса, где несколько дней тому назад были Гаврилов и Попов, человек скомандовал: "Стоп!" – и машина сломала скорости, оставив в ненужности пространство, время и ветер, – остановив землю и погнав за облаками луну. Человек не знал, что около этого леса – несколько ночей назад – был Гаврилов. Человек слез с машины и – молча и медленно – пошел в лес. Лес замер в снегу, и над ним спешила луна. Человеку не с кем было разговаривать. Человек из лесу вернулся не скоро. Возвратясь, садясь в машину, сказал:

– Поедем обратно. Не спешите.

К городу машина подошла, когда уже рассветало. Красное, багровое, холодное на Востоке подымалось солнце. Там внизу – в лиловом и синем – в светлом дыму во мгле – лежал город. Человек окинул его холодным взором. От луны в небе – в этот час – осталась мало заметная, тающая ледяная глышка. В снежной тишине не было слышно рокота города.

ГЛАВА ПОСЛЕДНЯЯ

Вечером, после похорон командарма Гаврилова, когда отгремели трубы медные военного оркестра, отклонялись в трауре знамена, прошли тысячи хоронящих и труп человека стыл в земле вместе с этой землей, – Попов заснул у себя в номере и проснулся в час, непонятный ему, за столом. В номере было темно и тихо, плакала Наташа. Попов склонился над дочерью, взял ее на руки, поносил по комнате. В окно лезла белая луна, уставшая спешить. Попов подошел к окну, посмотрел на снег за окном, на тишину ночи. Наташа сошла с рук Попова, стала на подоконник. В кармане у Попова лежало письмо от Гаврилова, та последняя записка, которую он написал в ночь перед тем, как пойти в больницу. В записке было написано:

"Алеша, брат! Я ведь знал, что умру. Ты прости меня, ведь ты уже не очень молод. Качал я твою девчонку и раздумался. Жена у меня тоже старушка и знаешь ты ее двадцать лет. Ей я написал. И ты напиши ей. И поселяйтесь вы жить вместе, женитесь, что ли. Детишек растите! Прости, Алеша".

Наташа стояла на подоконнике, и Попов увидел: она надувала щеки, трубкой складывала губы, смотрела на луну, целилась в луну, дула в нее.

– Что ты делаешь, Наташа? – спросил отец.

– Я хочу погасить луну, – ответила Наташа.

Полная луна купчихой плыла за облаками, уставала торопиться.

Это был час, когда просыпалась машина города, когда гудели заводские гудки. Гудки гудели долго, медленно – один, два, три, много, – сливались в серый над городом вой. Было совершенно понятно, что этими гудками воеет городская душа, замороженная ныне луною.

*Москва, на Поварской,
9 янв. 1926 г.*